

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие Небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо искажилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет.

Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то что в поле заметет маму, и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, домá Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридцатое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обедненного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом взглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, черно-рабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай загнули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с природенной прямоотой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под брэнчание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Николаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужуку дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская панорама с блещущей вдаль рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пуцу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый выюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил

ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да Бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуйшься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желтый поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволг, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном Писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой, — молился Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка, — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопритченную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как извесью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам

тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-резвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечной пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменным.

И делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, когда он вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто ни решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо Гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз

разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а при- ставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все распросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худошавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от труппа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил ко своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он по минутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного.

Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городские неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей», — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их прочит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе,

а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевиной уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреня лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

